

## ПЕРЕВОД НЕПЕРЕВОДИМОГО

В октябре 2005 года в Дели, в Центре российской культуры, состоялась международная конференция «Россия на перепутье: язык, литература и общество в XXI веке», организованная ИНДАПРЯЛОМ (Индийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы), в которой приняла участие представительная российская делегация. В состав делегации входил и наш постоянный автор известный русский поэт и переводчик Александр Радашкевич, выступивший на конференции с докладом. Предлагаем читателям текст этого доклада, любезно предоставленный автором.

*Редакция*

But I am the seed of another land. Astray there, the armada,  
unamazed, sees glittering in the harbor  
a scarlet throng of kings and queens come to greet them; or  
pages rushing forward in the waves of their mantles, tripping  
one over the other, their eyes glued to the ermine train.  
It is a land filled with palaces, every palace encircled  
by a park, where each is welcomed by the kings and  
queens with their court. And afterwards, intoxicated,  
each is released into a valley where winds carry his captured glance  
and a rotting trunk warms his back — until a drifting hand runs  
its fingers through his curls, across his delicate eyelids, over the years.  
And seeing deception nowhere, you see that everything has a purpose.  
Lost there, the armada lay down in the coral forest...  
But even I could never deceive one whose faith was easily shaken.

Но я зерно иной земли. Туда приплудшую  
армаду не изумит, что в гавани сверкает,  
встречая, алая толпа из королей, из королев, что,  
в волнах мантий подлетая, паж, себя самих  
собой смутив, упёрли око в хвостик горностая.  
Земля заставлена дворцами и каждый парком  
заключён, где всякий принят королями  
и королевами с двором. И всякий после, охмелён,  
отпущен в дол, где ветры несут взятый взор,  
где греет плечи рыхлый ствол — пока плывущая рука  
перстов не пустит по кудрям, по векам тонким, по векам.  
И ты увидел: всё не зря, ни в чём не зрев обман.  
Туда заблудшая армада легла в коралловом лесу...  
Того и я не обману, кого нетрудно разуверить.

редких и нелепых животных, которые давно занесены в Красную книгу исчезающих видов, — в ту самую, которая очень скоро будет переименована в животную «Книгу мёртвых». Как сказал Булат Окуджава: «Скоро их повыловят всех до одного». И ещё, чтобы вы знали, что в этом воплощении я — бродяга.

Меня пригласили почему-то выступить именно в секции переводчиков, и я вспомнил, как ребёнком с несказанным удивлением узнавал, что эта валкая, неудобная штука, которая скрипит и с которой всё время падаешь, называется «стул»; что эти таинственные своды, отвешенные от мира крахмальным занавесом жёлтой скатерти, под который все почему-то норовят засунуть свои огромные взрослые ноги, зовётся «стол», и что этот бескрылый ангел с лучистыми глазами и голосом, неизменно отзывающимся где-то в недрах груди и почему-то заставляющим сжиматься сердце, называется «мама». Так я впервые узнал, как странно Божий мир переводится на язык двуногих, и так я вступил во всемирную секцию пожизненных и добровольных переводчиков сущего, проявленного и воплощённого. Недаром в одном популярном у нас переводном издании, которое никогда не станет бестселлером, сказано: *В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.*

Когда я увидел в школе первые иностранные буквы и мне сказали, что «вэ» это «ви», что «бэ» это «би», что «а» это «эй» и что «эс» это «эс», я прибежал домой и, потрясённый, рассказал не слушавшей меня бабушке, что скоро узнаю, как переводятся все буквы и тогда начну понимать все языки... Потом я очень загрустил, узнав, что это не так, и надолго остыл к иностранным языкам. Грущу я и до сих пор.

Мои первые стихи слушала (обычно засыпая после второго стихотворения) известная переводчица с французского, английского, итальянского и немецкого и литературовед Надежда Януарьевна Рыкова. Было это в Ленинграде в начале 70-х. В Советском Союзе, как известно, была великая переводческая школа, и Рыкова принадлежала к ней с молодости. Многие большие и малые литераторы, не имея из-за цензурных соображений возможности публиковаться, уходили из творчества в переводчество, высказывая чужими — зарубежными — устами классиков и новаторов то, что не слишком или совсем не одобрялось на родном языке. Они составляли как бы добровольческий (хотя им за это прилично платили) всесоюзный лагерь переводчиков.

Но эти увёртки, кстати, не помешали той же Надежде Януарьевне отсидеть пять лет в самом что ни на есть настоящем лагере, в Караганде. В конце войны друзья, соседи по коммунальной квартире, во время писательской пьянки по поводу 7 ноября наградили её «орденом морковки»... Дело в том, что до этого им привезли из колхоза овощи, в частности морковь. И одна из морковок имела весьма необычную форму, наводящую на самые неприхотливые мысли. Эту «морковку» и изобразили в центре картонной звезды. К несчастью, сосед развесёлых интеллигентов работал художником-прозектором (т.е. тем, кто препарирует изъятые из покойников органы для различных целей и делает муляжи человеческих внутренностей). И однажды настал исторический момент, когда его пригласили ухаживать за главной, «вечно живой» мумией страны. Знаете, там, не доходя до Спасских ворот, напротив ГУМа? И тогда, естественно, его стали просвечивать со всех возможных и невозможных сторон так, что добрались, конечно, до самой «морковки».

В лагере Рыкова заболела туберкулёзом, что возможно, спасло ей жизнь. Её определили вести статистику в санчасти, где помирали один за другим бедные доходяги. Однажды её вызвали к лагерному начальству и спросили: «Что это у вас в санчасти без конца умирают?» И Надежда Януарьевна твёрдо и без запинки отчеканила: «Гражданин начальник, у нас умирают только те, кому положено умереть».

Вселенные сменяли одна другую, вздымались и умирали великие ветра, и в конце 70-х я стоял уже в уголке потребительского рая (известного переводчикам под неверно толкуемым античным словом «демократия»), в маленьком американском городке, со своим центром, своей ратушей и своим негритянским гетто, куда не рекомендовалось заглядывать ни днём ни ночью. В центре располагался знаменитый Йельский университет, и внутри «кампуса», охраняемого университетской полицией, было относительно спокойно. Так вот. Я держал в руках снятую с полки малоизвестную там книгу под названием «Преступление и наказание» какого-то русского депрессивного автора. Это был американский перевод на английский. Открыв наугад, я попал

на ту знаменитую сцену, где Свидригайлов, помышляя отправиться «в чужие края», «в Америку», т.е. покончить с собой, подходит к каланче, где стоит у запертых ворот в серой шинели и «ахилессовой каске» еврей-пожарный, который говорит ему: «Здесь не места!» Мне нравилось выверять свой неуверенный английский по знакомому тексту. Но не настолько неуверенный, чтобы не заметить, что в переводе у закрытых ворот стоял «German fireman». И тут я понял, что здесь, в «Америке», куда навеки уехал Свидригайлов, какая-то своя главная, пусть и незримая, мумия, свои прозекторы и своя «морковка», и что лучше и безопаснее переводить мир так, как переводят здесь — в соединённых штатах переводчиков. Этим и занималась так называемая «третья волна» советской эмиграции, послушно изощрявшаяся в равнодушии и даже презрении к своей бывшей родине. Хотя — разве бывает родина бывшей?

Proud to be American! — популярная в тех краях формула, которая плохо переводится на русский язык. Потому что Родина вызывает у нас (по крайней мере, раньше так было) чувство любви. Но в любви нет никакой гордости. А в гордости нет никакой любви.

В начале 80-х я с великим облегчением покинул звёздно-полосатый рай, с его «мечтой» о наживе, и оказался в старом добром Париже, где снова научился жить, и стал работать в эмигрантской газете, работавшей против моей страны на всё те же тёмно-зелёные деньги. Называлась она «Русская мысль». Однажды наш немного блаженный наборщик, делавший какие-то невероятные и красноречивые опечатки, ухитрился пропустить в названии букву «с», и на первой странице свежего номера красовалось огромными чёрными буквами «Русская моль». Потом возник вариант «Русская моль». И если бы его не успели уволить, он сумел бы набрать «антирусская». Ибо такой она и была.

Там, в Париже, судьба привела меня работать с семьёй русских магараджей, чтобы я хорошо понял на своей плебейски-поэтической шкуре смысл старинной поговорки «Il n'y a pas de roi pour son valet» (т.е. для слуги короля короля не существует). Они, как и положено, любили говорить по-французски. Однажды старшая великая магараджа сказала кому-то по августейшему телефону: «Приходите в четверг на завтрак». К тому времени я уже полюбил её как человека и, понимая ход непостижимых в своей поднебесной неперевоидимости мыслей, мягко заметил, что надо было сказать «на обед». «Но ведь вы живёте во Франции. Dejeuner значит «обед». «Но вы, Ваше Незакатное Всесовершенство, сказали «завтрак». А завтрак — это petit dejeuner». «Не говорите глупостей», — огрызнулось Всесовершенство.

В назначенный день приглашённая пара явилась в восемь утра. А в полдень я застал невыспавшуюся магараджу в великом гневе. «Какие дураки! Никаких манер! Я же сказала по-русски: приходите на завтрак!» «Они и пришли». «Но, вы понимаете, я же пригласила их на обед!» «Но ведь вы, Ваше Надмирное Всепросвещение, не можете быть неправы. Поэтому считайте, что они приходили на обед... То есть на завтрак».

Вечером великая магараджа пожаловалась одному из приближённых: «Вы представляете, он сказал, что я не могу быть неправы... Но я не такая дура! Он хотел сказать, что Я была права! Это невыносимо!» Но великая магараджа была уже в преклонном возрасте и тоже по-своему любила меня, насколько позволяет августейшее сердце. Поэтому мы злились друг на друга всего один день.

Однажды японский переводчик спросил меня на приёме: «Как мне вас представить?» Я сказал: «Але-кса-ндр Ра-да-шке-вич». «Ой, мне это трудно!» «Мне тоже», — подумал я про себя.

И снова заскрипели великие шестерёнки и закрутились трансмиссии вселенных, и я уже стал бывать на родине не меньше двух раз в год, с каждым разом всё меньше узнавая и понимая её. У мавзолея, где давно не работал тот прозектор, уже не сменялись, чеканя балетный шаг, часовые, и из небытия было извлечено пыльное чучело двуглавого орла, которое вызолотили и набили пожирнее, и народу была торжественно указана — в светлой дали — новая «морковка». Мёртвые идолы коммунизма были малой кровью заменены на тучного истукана, которого переводят то как «мамона», то как «золотой телец»... Хотя такой ли уж «малой»? Мы теряем в год миллион русских людей, согласно точному рецепту сердобольных «друзей» нашей страны. И хотя до 15-ти отпущенных нам миллионов ещё далеко, не исключено, что для нас будет изобретена какая-нибудь экспресс-демократия, вроде fast food. Ведь всегда наготове ответ: «У нас умирают только те, кому положено умереть». Недаром один наш великий магараджа, Александр III, так любил повторять: «У России друзей нет». Правда, он не был в Индии...

«Но я по родному краю тоскую в родном краю», — очень точно подытожил Юрий Кузнецов наше внутреннее сиротство. В городах появилось множество непереводаемых косноязычных надписей, понеслись потоки иностранных машин с чёрными непроглядными стёклами, рядом смелых демократических реформ людей быстро очистили от их законных сбережений, появились богатые и очень богатые и, соответственно, бедные и очень бедные, в небо взметнулись мраморные банки, а старики начали от отчаянья выбрасываться из окон своих нетопленых квартир, книжный рынок заполонили коммерческой дрянью, дикторы стали делать позорные ошибки и говорить с каким-то странным базарным выговором. В считанные годы русские научились всё хуже изъясняться по-русски и превратились в неких россиян, и теперь часть выжившей интеллигенции, не оказавшейся на горьковском дне или ещё глубже, превратилась во всероссийскую секцию переводчиков, которая автоматически переводит с «русского» на русский уходящий в небытие и в подполье (и, надеюсь, в Сопротивление) язык. Наш костенеющий, наш умирающий язык. «Я никогда не думал, что долгожданный приход свободы обернется уходом культуры», — признался народный артист СССР Муслим Магомаев.

XX век, уставившись в «чёрный квадрат» Малевича, обесценил, извратил и обезличил тёмной энергией денег всё и вся, заполонив мир суррогатами и дешёвыми подделками. Я не знаю, для кого мы пишем сегодня, для кого переводим. Для себя? Друг для друга? Для доживающих свой горький век романтиков всех столетий? Для ненавидящих нас критиков, живущих нашей отравленной кровью?.. В какой-то момент, задав себе эти вопросы, я чуть не задохнулся, и мне захотелось бросить весь этот потаённый безысходный труд. И тогда мой добрый друг, проживающий между Москвой и Монреалем поэт Бахыт Кенжеев написал мне: «Как для кого, милый? А для Господа Бога?» Наверно, он что-то знает про Божий замысел о нас...

Являюсь ли я переводчиком-пессимистом? О, не более чем Мона Лиза, переводящая свой созерцательно просвечивающий взгляд с одного праздного зевающего иностранного посетителя на другого и никогда не сводящая его, и не более чем Георгий Иванов, который гениально заключил в своём «Портрете без сходства»:

Я верю не в непобедимость зла,  
А только в неизбежность поражения.

Анна Ахматова говорила, что поэту вредно заниматься переводами в творческом возрасте. Но я успел-таки коснуться творческих миров некоторых замечательных поэтов и писателей. Возможно, это произошло в минуты душевного молчания, когда звёзды отворачиваются от нас. Но так или иначе, когда присутствующая здесь Светлана Василенко, прочитав мой перевод «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина, сказала, что это написано кровью, мне показалось, что я внёс свою малую, посильную лепту в перевод непереводаемого.

But I am the seed of another land... И когда наша Ранджана Саксена неожиданно сообщила: «Индия зовёт вас», — я понял, что звал её. Звал давно, в чёрно-белом детстве, когда Радж Капур пел, обливаясь незримыми слезами и сжимая в руке своё смуглое сердце: «Бродяга я-аа-аа...»

Теперь большую часть года я живу в малоизвестной в Индии стране, которая называется Чехия и которую я называю, по её подлинному историческому имени, Богемия, чтобы ещё больше запутать следы. Так вот, у меня есть там друг-чех по имени Даниэль. Я думаю, что он ангел. Потому что уже много лет он не стареет и любит бесплатно сдавать свою кровь. Хотя другие считают его почти нормальным человеком, спортсменом и отцом семейства. Во всяком случае он был нормальным, пока не попал в Индию. Он был там (т.е. здесь) уже три раза, по целому месяцу. Совершенно один. Он видел впервые мёртвого человека прямо на улице, купался в Ганге, ходил по джунглям и храмам, жил в маленьких городках, всегда далеко от суетных туристических маршрутов и ярких дорогих отелей. И, главное, пользуясь небольшим набором английских слов, он говорил с людьми, говорил о том, что давно забыли в его маленькой уютной европейской стране, — о жизни и о смерти. Когда Даниэль узнал, куда я еду, то сразу прибежал и целый вечер поил меня самым лучшим чешским пивом. Весь вечер он смотрел на меня, как на Тадж Махал на восходе солнца, и когда я спросил его, было ли ему грустно хоть раз и скучал ли он по дому, он посмотрел на меня своими ангельскими глазами, как на последнего из безнадежных идиотов, и сказал: «Я очень жалел о том, что не могу остаться там ещё на месяц. Или на всю жизнь».

Думаю, что то, что он узнал здесь, слишком просто. А потому — непереводаемо. Как те несколько переводных картинок моей жизни, которые я сейчас показал, чтобы не утомлять вас своим хроническим неумением делать доклады.

*Дели, октябрь 2005*

*Международный семинар «Russia at the Crossroads: Language, Literature, Culture and Society in the 21<sup>st</sup> Century»*